

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ «Я» – «ДРУГОЙ» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ К ИНТЕГРАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

А.КОПЬЕВ

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается
Как нам дается благодать...*

Ф.И.Тютчев

Многообразие различных школ и концепций психологической помощи – от фрейдовского психоанализа до современных видов суггестивной практики, а также широчайшая сфера реальной востребованности услуг практического психолога – от психотерапии аутичных младенцев до консультирования директоров компаний – способствуют все возрастающей дифференциации идей и методов психологической практики и взаимо-обособлению соответствующих школ и профессиональных объединений. «Кажется, – пишет В.Н.Цапкин, – что каждая из школ пытается воздвигнуть свою собственную вавилонскую башню, попирающую небеса, за что в итоге наказание несет вся психотерапия в целом в виде вавилонского смешения в ней языков» (Цапкин, 1992, с.18).

Серьезный культурологический анализ данного феномена «смешения языков», предпринятый автором цитированного исследования, привел к существенной констатации: в разнообразии психотерапевтических теорий и соответствующих практик мы имеем дело с различными мифами и адекватными им ритуалами.

Реальное – практическое – знакомство с мифом возможно только за счет все большего интеллектуального и ценностно-волевого вхождения в него: за счет подчинения своего мышления и жизненной практики нормам и предписаниям данного мировоззрения. Миф – ревнив и герметичен. Он открывается познающему человеку только изнутри и требует отказа от других «богов» – от альтернативных систем и верований. Тот уровень познания, который, быть может, и вполне удовлетворяет стороннего исследователя, академического «путешественника» по «мифам народов мира», способен привести к опасной дезориентированности, безосновности и бессилию при попытках практической работы с реальными людьми.

Когда мы – практические психологи отечественной генерации – пытаемся осваивать накопленный на Западе профессиональный опыт, мы сталкиваемся с действием двух разнонаправленных «векторов». Назовем их «фундаменталистским» и «фельдшеристским».

Первый – связан как раз с рассмотренным выше обстоятельством, с тем, что практическая психология предстает перед нами в виде нескольких ведущих теорий – «мифов», самодостаточных и взаимно «непроницаемых», с соответствующей онтологией и системой практических действий – «ритуалов». Отсюда необходимость максимального вхождения в мир соответствующей концепции и – порой, насильственный – отказ от всех иных взглядов и техник, а также вынужденная имитация интеллектуальной самодостаточности и самоуспокоенности. По правде говоря, трудно поверить в искренность и органичность подобной методологической невинности (ведь речь идет о российских психологах конца XX столетия), и потому такие самоопределения, как «я – психоаналитик», или «я – гештальтист», или «я – энэлпист» и тому подобное, порой воспринимаются как самодиагнозы.

Другой вектор, властно определяющий нашу интеллектуальную ситуацию, связан с разнообразием сфер деятельности. Существует множество областей приложения сил для практического психолога: здесь и психотерапия с различными типами больных, и помощь в семейных коллизиях, в воспитании детей, здесь и консультативная практика в школе, в управленческих структурах и т.д. и т.п.

Для тех, кому практическая психология открывается с этой стороны, она неизбежно предстает мозаичным собранием разнообразных технических приемов, процедур, эмпирических принципов и манипуляций. «Здесь, – снова процитируем В.Н.Цапкина, – главное – скорее помочь клиенту, главное – метод, главное – технология, скорее узнать, «как это делается», не вникая в суть той особой реальности, которая порождается тем или иным методом. Увы, такого рода практика сродни фельдшеризму» (Цапкин, там же, с.10).

На наш взгляд, опасность фельдшеризма в области практической психологии заключается не столько в недостатке теоретических знаний и

научных идей, обосновывающих содержание того или иного практического метода, сколько во все возрастающем скепсисе или релятивизме, в прогрессирующей неспособности не только составить для себя более или менее целостное представление о психологической природе того случая, с которым данный психолог работает, но неспособности даже *озадачиться* этим. Здесь приходит на память давний врачебный анекдот: «Умирает старый фельдшер. Коллега-приятель комментирует его состояние: «У тебя, брат, совсем миокард износился». «Слушай, Петрович, – отвечает ему больной, – ты бы хоть мне перед смертью не врал, что ли. Уж мы-то с тобой знаем, что никакого миокарда не существует».

Предлагаемые ниже соображения следует рассматривать как своеобразный ответ автора, не желающего выбирать между лукавой герметичностью фундаментализма и фельдшерской эклектикой. Мы уже не настолько наивны, чтобы следовать тому или иному психологическому «вероучению» и усердно воспроизводить – уже на нашей культурной почве – все те суеверия и предрассудки, которые данное учение предполагает. И мы, надеюсь, не настолько поверхностны и легкомысленны, чтобы удовлетворяться коллекционированием техник и методических приемов. Автор не стал бы предлагать здесь своих решений, если бы не имел оснований считать, что описанная проблема не есть лишь его личное недоразумение, но что она имеет и более общее значение.

Мы попытаемся теоретически обосновать и оправдать эклектизм **как осознанный интеллектуальный выбор**, утвердив его концепцией, с одной стороны, вполне известной и даже близкой многим психологам, более того, конгениальной нашей культурной почве, но, с другой, – как бы «перпендикулярной» по отношению ко всей традиционной психологии (и «научной», и «помогающей») и – в силу этого – свободной от «ангажированности» тем или иным психотерапевтическим «культуrom»¹.

Мы опираемся на концепцию диалога М.М.Бахтина, которая в последние два десятка лет весьма активно цитируется в отечественных работах, посвященных практической психологии. Но, на наш взгляд, она пока что воспринята лишь в той части, которая согласуется с уже известными истинами практической психологии. В ней видится, скорее, отечественный аналог американской гуманистической психологии, нежели самобытный и – подчеркнем – внепсихологический (если не

¹ Разумеется, мы прекрасно сознаем, что не являемся оригинальными в стремлении преодолеть (или примирить) противоречия между различными концепциями в психотерапии и консультировании. Подобные попытки не прекращались со времен возникновения первых теоретических коллизий такого рода в истории психотерапии. Ими также отмечен и ряд отечественных работ. Желание примирить различные взгляды вполне адекватно и тому качеству «бесчеловечности», которое Ф.М.Достоевский полагал одним из существенных атрибутов отечественного менталитета. Однако, подчеркнем еще раз, определив «диапазон приемлемости» или сферу действия для той или иной концепции, то есть, расположив их по соответствующим «полочкам» нашего сознания, мы, в ситуациях конкретной практической работы с конкретным клиентом, рискуем оказаться в роли утративших внутреннюю целостность эрудитов-«ботаников». Вместе с тем, то логическое и (или) энциклопедическое соединение различных теорий, которое вполне устраивает историка психологии, систематика, университетского преподавателя, также совершенно не адекватно для практически работающего психолога.

сказать антипсихологический) взгляд на человека и его взаимоотношение с другим. Концепция М.М.Бахтина «трансгредивна», внеположена конкретным психологическим теориям и – благодаря этому – приложима к самым разным явлениям психологической практики (независимо от сферы ее действия и теоретической основы) – в той мере, в какой эти явления соотносимы с предельно общим принципом: психологическая помощь (психотерапия, психокоррекция, консультирование и пр.) предполагает взаимопознание и взаимодействие человека с человеком.

Отношение М.М.Бахтина с психологией (как научной, так и современной ему практической – в лице психоанализа) представляет собой специальную историко-психологическую и методологическую проблему. Однако, для нас несомненным является то, что общегуманитарные и психологические спекуляции М.М.Бахтина, разбросанные в его различных литературоведческих текстах и, порой, лишь пунктирно обозначенные, являются компонентами стройной и внутренне цельной антропологической концепции. Эта концепция имеет для психологии личности, для теории психотерапии и консультирования исключительное значение и потому нуждается в своеобразной реконструкции.

Попробуем произвести подобную реконструкцию в виде системы тезисов с соответствующими комментариями и экскурсами в психологическую проблематику.

1. Существует фундаментальное различие между двумя позициями в подходе к личности: **изнутри** и **извне**.

Личность изнутри самое себя, в своем «я – для себя», никогда не сводима к некоей данности (физико-соматической, социально-статусной, экономической, морально-этической, характерологической и пр.) – она всегда предстоит некоторой задаче, миссии, внутреннему требованию, и потому она всегда **задана**. Личность, переживаемая изнутри, лишена «алиби в бытии», ей еще предстоит дать отчет, как обо всех «вложенных в дело», так и о «зарытых в землю» талантах.

Простой пример, приводимый М.М.Бахтиным, может прояснить суть отношения человека к себе и к другому: «Я люблю другого, но не могу любить себя, другой любит меня, но себя не любит; каждый прав на своем месте, и не субъективно, а ответственно прав. С моего единственного места только **я** – для – себя, а все другие – другие для меня (в эмоционально-волевом смысле этого слова). Ведь поступок мой (и чувства – как поступок) ориентируются именно на том, что обусловлено единственностью и неповторимостью моего места. Другой, именно на своем месте, присутствует в моем эмоционально-волевом участном сознании, поскольку я его люблю как другого, а не как себя. Любовь другого ко мне эмоционально совершенно иначе звучит для меня – в моем личностном контексте, чем эта же любовь ко мне для него самого, и к совершенно другому обязывает меня и его» (Бахтин, 1986, с.116).

Человек нуждается **во внешнем** взгляде, **в другом** человеке, который просто в силу своей «другости», своей естественной вненаходимости по отношению к нему, может воспринять его как **данность**, как некоторую завершенность, как что-то определенное и состоявшееся.

2. Итак, изнутри своего «я – для себя» личность всегда не завершена. И чем более в поверхностно-защитной плоскости своего самосознания человек цепляется за те или иные удовлетворяющие его определенности, тем более в своей глубине он чувствует их тщетность, тем более он восприимчив к внешнему мнению, тем более он стремится найти себя «в отражениях» (и тем более он боится этих отражений)².

3. Вместе с тем, всякая попытка внешнего определения человека как данности – попытка **завершения** личности всегда обречена на неполноту. С одной стороны, позиция другого – позиция вненаходимости – потенциально имеет большие преимущества. Всем известна банальная истина: «со стороны виднее». Действительно, со стороны можно увидеть принципиально не видимые изнутри внешние атрибуты той жизненной ситуации, в которой находится человек, можно в деталях рассмотреть все, что относится к его телесному образу, к его жестам, манере говорить, действовать и пр. Извне можно услышать те интонации, акценты и оговорки в высказываниях человека, которые ему изнутри принципиально не слышны. Это преимущество вненаходимости всегда составляет соблазн завершения личности, конечного определения ее как некоей данности. Особые психологические познания и специальные диагностические процедуры могут усиливать это чувство собственной компетентности внешнего наблюдателя и – соответственно – усиливать соблазн завершения.

С другой стороны, внешний взгляд, ориентирующийся на данность и пытающийся ее наилучшим образом «расшифровать» (именно как данность), принципиально не видит той **заданности**, которая предстоит человеку изнутри его свободно поступающего «я». Внешний взгляд может пленяться очевидностью и торопиться с суждением, тогда как изнутри все представляется совсем не столь определенным и ясным. «Подлинная жизнь личности, – пишет М.М.Бахтин, – доступна только диалогическому проникновению в нее, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя. Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, то есть заочная правда, становится унижающей и умерщвляющей его ложью...» (Бахтин, 1979, с.69).

В качестве примера коллизии внешнего и внутреннего взгляда на человека М.М.Бахтин приводит реакцию Макара Дежушкина из «Бедных людей» Ф.М.Достоевского, когда тот прочитал гоголевскую «Шинель» и, узнав себя в Акакии Акакиевиче, оскорбился и возмутился: «Прячешься

² Данное обстоятельство может объяснить нам, почему для многих взрослых, интеллектуально развитых людей вполне самодовлеющей деятельностью, деятельностью, которую в терминах А.Н.Леонтьева можно назвать ведущей, то есть регулируемой смыслообразующим мотивом, становится **деятельность интриги** (а соответствующие провокации, сплетни, манипуляции и т.п. – адекватными этой деятельности **действиями**).

иногда, прячешься, скрываешься в том, чего не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуды трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уже вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено!» Особенно, – отмечает М.М.Бахтин, – возмутило Девушкина, что Акакий Акакиевич так и умер «таким же, каким был» (Бахтин, 1979, с.67).

Более «современный» пример подобной болезненной реакции на самую возможность завершения извне мы находим в новелле Х.Кортасара «Преследователь», где главный герой – саксофонист-виртуоз, наркоман и безумец Джонни, находясь в психиатрической больнице, выговаривает своему другу-биографу по поводу окружающих его психиатров (подспудно имея в виду и позицию самого этого друга-завистника):

«Бруно, этот тип и те другие типы из Камарильо какие-то убежденные. Спросишь, в чем? Сам не знаю, но в чем-то очень убежденные. Наверное, в том, что они очень правильные, что они ох, как много стоят со своими дипломами. Нет, не то. Некоторые из них скромники и не считают себя непогрешимыми. Но даже самый скромный чувствует себя уверенно. Вот это и бесит меня, Бруно, **что они чувствуют себя уверенно**. В чем их уверенность, скажи мне, пожалуйста, когда даже у меня, подонка с тысячью болячек, хватает ума, чтобы разглядеть, что все кругом на соплях, на фу-фу держится. Надо только оглядеться немного, почувствовать немного, помолчать немного – и везде увидишь дыры. В двери, в кровати – дыры. Руки, газеты, время, воздух – все сплошь в пробоинах; все, как губка, как решето, само себя дырявящее: но они – это американская наука собственной персоной, понимаешь, Бруно? Своими халатами они защищаются от дыр. Ничего не видят, верят тому, что скажут другие, а воображают, что видели сами. И конечно, они не могут видеть вокруг себя дыры и очень уверены в себе, абсолютно убеждены в необходимости своих рецептов, своих клизм, своего проклятого психоанализа, своих «не пей», «не кури» (Кортасар, 1977).

4. Итак, попытка внешнего определения личности, попытка «завершения» ее всегда не состоятельна, так как в корне противоречит той свободе, неопределенности и незавершенности, тому «не алиби в бытии», которое выступает как очевидная внутренняя данность для любого честного самоотчета. И – вместе с тем – личность, в особенности находящаяся в критической ситуации, остро нуждается в **реакции на себя**, в ином мнении о себе, которого она – одновременно – порой, не менее сильно боится. Практически, другой выступает в качестве того самого волшебного зеркальца, которое так радовало, но и так огорчало злую царицу из пушкинской «Сказки о мертвой царевне». Другой призван успокоить, утешить, подтвердить, что все в порядке, что «ты на свете всех милее» и т.п. Но, вместе с тем, Другой – это всегда опасность

разоблачения, он может не подтвердить желаемого, может обнаружить наше самозванство, может обидеть нас, не поддержав нашего душегрейного желания, и это тем вероятнее и тем опасней, чем более мы сами – в глубине своего Я – подозреваем подобное.

Для того чтобы выступить в качестве зеркала, другому вовсе не обязательно говорить что-либо о нас, выносить те или иные конкретные суждения. В конце концов, за любой реакцией или ее отсутствием можно усмотреть то или иное суждение. Обостренное ощущение собственной негарантированности заставляет человека настороженно вглядываться в других, сравнивать себя с ними, порой, мучительно переживать свое несоответствие, завидовать и т.п.³

Суждение человека о человеке никогда не может быть подлинным «завершением». Оно всегда ограничено его кругозором, пристрастиями, «зlobой дня» и пр. Тем более оно не полно, пока человек жив и не сказал еще своего последнего слова. Вместе с тем, человек нуждается в «завершении» и ищет (– боится) его (вспомним в равной мере наивную и трагическую попытку организовать собственные прижизненные поминки, которую предпринимает смертельно больной герой фильма Г.Данелия «Не горюй»).

Такова изначальная **антропологическая коллизия**, с которой имеет дело психолог-консультант, психотерапевт, внутри – и благодаря – которой он имеет возможность действовать.

Пространством и условием деятельности практического психолога является **диалог** – конкретное событие «пересечения» того, что может сказать о себе **сам человек**, и того, что становится понятным о нем психологу как **другому**.

«Овладеть внутренним человеком, – пишет М.М.Бахтин, – увидеть и понять его нельзя, делая его объектом безучастного и нейтрального анализа, нельзя овладеть им и путем слияния с ним, вчувствования в него. Нет, к нему можно подойти и его можно раскрыть, точнее, заставить его самого раскрыться – лишь путем общения с ним, диалогически» (Бахтин, 1979, с.293).

³ В одной из своих лекций, прочитанных в 1983 году в Психологическом институте РАО, наш выдающийся соотечественник, историк Л.Н.Гумилев весьма неожиданно для аудитории с уважением высказался о чувстве зависти как присущем пассивным личностям, то есть, в его терминологии, людям сильным, потенциально способным к большим свершениям.

Надо сказать, что, в отличие от столь любимого психологами Эдипа, библейский Каин не удостоился такого внимания к своей персоне и может не узанно и не пуганно жить-поживать в подсознании современника.

Эта нарочитая слепота психологии оборачивается пошлой активностью отечественной публицистики последних лет, настолько усердно бичующей зависть как препятствие прогрессивным реформам, что впору сказать несколько слов в плане «психологической реабилитации» этой эмоции.

Зависть – столь же греховное, сколь и специфически человеческое чувство. Животное – самодостаточно, другая особь выступает для него только в контексте той или иной потребности. Животное – суть данность, оно не подлежит суду, у него нет миссии, призвания, для него нет заповедей и законов, преступлений, подвигов, падений и рекордов. Только человеку свойственно обостренное ощущение некоего задания и – в силу этого – более или менее хроническое сомнение в своем соответствии этому заданию. Отсюда – естественное и, порой, ревниво недоброжелательное внимание к другому («С пошлой бессмертной пошлости как справляетесь, бедняк?» – М.И.Цветаева); отсюда – сравнение себя с ближним и болезненная реакция на его превосходство. Поэтому подлинными «противоядиями» от зависти могут быть не моральные заклинания, но либо глубочайшее смирение, либо исключительное самодовольство, не уступающее скотскому.

Психологическая помощь становится возможной не благодаря тому, что психолог может выступить по отношению к человеку – своему клиенту – в роли проницательного «эксперта» или «учителя», «врача» или «проповедника», в роли «эхо» или «гипнотизера», «тренера» или «ученого» и т.п. и т.д. Она возможна постольку, поскольку он – **другой**.

Подлинным жизненным прототипом «помогающего» психолога являются, на наш взгляд, – не перечисленные выше (или какие-либо иные, подобные им) роли и позиции, но, скорее, роль *случайного собеседника* в поезде, свидетеля внутренней драмы, которую, быть может, и неожиданно для самого себя открыл ему его попутчик.

В этой функции – в функции другого – как правило, не могут выступить для человека люди из его окружения: члены его семьи, его близкие, с которыми его связывают жизненно-практические отношения. Именно в силу своей близости, своей реальной включенности в жизнь человека они недостаточно **авторитетны как другие** (при всех возможных достоинствах ума и характера); их взгляд неизбежно фрагментарен и прагматически заострен ввиду большей или меньшей ассимилированности их жизни с жизнью клиента. Поэтому их позиция как других – позиция внаходимости по отношению к нему – недостаточно последовательна, недостаточно целостна и «упруга» и, если и возможна применительно к частностям его жизни, то почти всегда несостоятельна применительно к пространству всей жизни человека, к основным «силовым линиям» его бытия.

Разумеется, в зависимости от конкретной профессиональной задачи и собственной «системы ориентации», помогающий психолог может выступить в какой-либо из названных (или не названных) выше ролей, однако базовой предпосылкой его деятельности является фундаментальное преимущество внешнего взгляда, которым он в той или иной степени может делиться со своим *собеседником* (клиентом, пациентом). Помогать он может не в силу своей профессиональной подготовки (познаний, навыков, технологий, умения ставить диагнозы и т.п.), но в силу своего объективного положения как другого. Соотношение данных факторов – профессионализма и «другости» – здесь примерно такое же, как соотношение конкретных навыков морехода с самим существованием морей, выталкивающей силы воды, розы ветров и т.п. Собственные профессиональные и личностные качества психолога будут проявляться в том, какую позицию он займет по отношению к своему собеседнику.

Существенно огрубляя и «спрямляя» многообразие факторов психологической помощи, попробуем прибегнуть к следующей модели. Представим себе процесс фотографирования человека. Для простоты условимся, что он стоит неподвижно и результат полностью зависит от действий фотографа. Последний может выбрать любой ракурс, под которым он намерен производить съемку. В зависимости от того, как фотограф ориентирует объектив фотокамеры, он получит ту или иную

проекцию человека: на передний план выйдет та или иная часть тела, некоторые части отойдут на второй план или сольются с фоном, а некоторые вообще будут не видны, либо просто не уместятся в кадр.

Полученная в результате проекция человека – то, что вошло в фотоснимок, – определяет содержание этого фотоснимка; вместе с тем, акцентируя тот или иной аспект человеческого образа и этим ценностно утверждая его, фотограф неизбежно – только лишь самим выбором ракурса – задает важнейшее, с точки зрения формы, жанрово-стилевое своеобразие изображения. Внимание автора к тем или иным частям и пропорциям человеческой фигуры и его позиция как фотографа по отношению к ним **формируют** изображение, характеризуют его принадлежность к тому или иному жанру и стилю: от возвышенно-эпического до пародийно-фарсового.

Перенося данную модель в контекст психологической помощи, можно отметить следующее: позиция психолога, психотерапевта проявляется, в первую очередь, как внимание к тем или иным аспектам душевного мира и жизненной ситуации собеседника. Психолог выделяет отдельные аспекты – как фигуру из фона, стремится к актуализации того или иного содержания в опыте своего клиента и, соответственно, вольно или невольно блокирует иные проявления (для этого достаточно, порой, одного лишь невнимания к ним). В тотальности опыта и поведения клиента, его жизненной ситуации психолог высвечивает определенные участки, представляющиеся значимыми. Их актуализация и обсуждение осуществляются в адекватных жанрово-стилистических формах и, соответственно, требуют адекватной позиции самого клиента, его готовности «играть» по этим «правилам игры», принимать и воспроизводить данную жанрово-стилевую форму.

Предлагая в связи с проблемами клиента свои образы и суждения, выстраивая свое интегральное эмоционально-ценностное отношение к нему, психолог предлагает те или иные варианты **завершения** его личности и его ситуации (изнутри неясных и тревожащих, преисполненных «дыр», разомкнутых в будущее возможностей, которые, в свою очередь, в той мере, в какой они восприняты – услышаны, прочувствованы – клиентом, становятся фактором его внутренней динамики, то есть тем, что объясняет, озадачивает, примиряет, возмущает, утешает, вдохновляет и т.д.).

При этом «арсенал» возможных реакций практического психолога может быть без особого труда перечислен и формально каталогизирован, в соответствии со степенью их «завершающей потенции». Расположим их по данному критерию в порядке возрастания и получим нечто вроде следующего перечня: молчание – «отражение» – вопрос – собственная реплика (рассказ, байка) – комментарий – интерпретация – манипуляция – совет.

С формальной точки зрения, между «завершающей» активностью

психолога и внутренней активностью клиента существует обратно пропорциональная зависимость. Чем более усердствует в использовании возможностей своих «завершений» психолог, тем более он, вольно или невольно, подавляет внутреннюю активность собеседника, и, соответственно, наоборот. Здесь нетрудно вспомнить технические предписания, например, психоанализа, клиентоцентрированной терапии и др. (Копьев, 1990).

Вспомним, однако, что сама по себе возможность «завершения» никогда не может быть осуществлена в полной мере. Пока человек жив, пока существует его «я – для себя» и он не сказал в этом мире своего последнего слова, всякие попытки внешнего «завершения» воспринимаются как бы «по касательной», лишь оттеняя для него самого то, что относится к его интимно-внутренней, суверенной активности. И чем более определенные и, казалось бы, активные действия предпринимаются психотерапевтом, тем с большей вероятностью может ощущаться то, что не подлежит «завершению».

Так, в конкретной практике психотерапевтической, консультативной работы становится возможным своеобразное «оборачивание» реального завершающего потенциала различных реакций психолога. Считающиеся «дурным тоном» советы и рекомендации могут становиться своевременным и эффективным катализатором самостоятельной внутренней работы клиента. В свою очередь, благонамеренно-техническое, «профессионально-выдержанное» и «благородное» молчание может становиться для него тягостным и мертвящим «завершением» если не самой его жизни, то, по крайней мере, его желания обсуждать впредь с кем-либо свои проблемы.

Итак, из предложенного выше следует, что любая реакция или – шире – акция психолога (психотерапевта, консультанта) в отношении клиента, какими бы профессионально-техническими или иными соображениями она ни мотивировалась, всегда несет в себе существенный момент отображения и оценки. Это позволяет компенсировать или, наоборот, обострить и усилить тот комплекс переживаний, который связан с принципиальной несамодостаточностью человеческого «я» как с базальным антропологическим обстоятельством. Потому не столь важно, какой теоретической ориентации придерживается тот или иной психолог; главное – насколько соответствующая ориентация помогает (или препятствует) ему в понимании сути конкретных проблем данного человека и в выстраивании адекватного ответа.

Различные психологические концепции предлагают свой взгляд на человека, предписывают психологу тот «ракурс», под которым, следуя нашей аналогии, полагается производить «съемку», и, в большей или меньшей степени, определяют тот жанр, в рамках которого строится взаимодействие психолога с клиентом. Но любой «ракурс» – лишь один из многих, и он задается, предписывается той или иной психо-

терапевтической концепцией, исходя из собственного личного опыта ее автора, опыта познания себя и помощи себе (и – в меру этого – оказавшегося востребованным другим) (Сосланд, 1997).

Есть теории, существенно расширившие и углубившие наши представления о человеческой природе, о психологическом содержании человеческих проблем. Есть теории, ориентированные на самый процесс психологической помощи и как бы отвечающие на специфически «фельдшерский» запрос. Но, безотносительно к этому, можно утверждать, что, чем более глубоко, идя за авторитетом соответствующей концепции, – а не за *собственным опытом*, – психолог погружается в ее миф, тем более подстерегает его опасность утраты собственного естественного рефлекса, утраты собственной интуитивной целостности в акте взаимодействия с клиентом. Но именно в меру этой целостности он, в конечном счете, может быть интересен и полезен для своих клиентов.

Становясь, осознанно или невольно, оператором-«жрецом» соответствующего мифа, практический психолог все более удаляется от прототипического образа своей профессиональной роли: от образа *собеседника* («портретиста», провокатора и утешителя), призванного, – предлагая тот или иной вариант «завершения», – восполнить недостающие содержания в опыте самопознания другого.

ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.*
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бахтин М.М. Философия поступка. В сб.: Философия и социология науки и техники. М., 1986.
Копьев А.Ф. Психологическое консультирование: опыт диалогической интерпретации. // Вопросы психологии, 1990, № 3, с.17-24.
Сосланд А.И. Харизматическая личность в психотерапии. // Московский психотерапевтический журнал, 1997, № 3, с.152-191.
Цапкин В.Н. Единство и многообразие психотерапевтического опыта. // Московский психотерапевтический журнал, 1992, № 2, с.5-40.